

Дубовая
колыбель

— ✧ —
The Feer

18+

The.Feer The.Feer

Дубовая колыбель

<https://litres.ru/74613583>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ноябрьская метель 1874 года. В дверь сельского учителя стучится его лучший друг, мельник Григорий, с бутылкой в руке и кровью, которую он до сих пор чувствует под ногтями. Он пришёл не прятаться, а рассказать всё. Всё про любовь, которая оказалась ревностью, про дружбу длиной в жизнь, про ночь на сеновале и про колыбель, которую в тайне от всех мастерили для ещё не рождённого ребёнка.

Содержание

Глава первая. Гость в метель	4
Глава вторая. Три мальчика на берегу	8
Глава третья. Ледоход	11
Глава четвёртая. Под рябиной	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

The.Feer

Дубовая колыбель

Глава первая. Гость в метель

Ноябрь семьдесят четвёртого года выдался в наших краях злой. Снег лёг рано, в первых числах месяца, и уже не таял. Ветер с Оки-реки гнал его по полям сплошной белой дымящейся стеной, и по вечерам казалось, что вся Сосновка плывёт куда-то в молоке, а колокольня то выныривает из него, то тонет.

Я жил тогда при школе, в двух комнатах под одной крышей с классом. Днём здесь пахло мелом, мокрыми валенками и детским потом, а к ночи оставался только запах остывающей печи и прелой бумаги от букварей. Меня зовут Николай Андреевич Званцев, я земский учитель, сын сельского дьякона, и тридцать лет моей жизни до той ночи были так ровны и тихи, что рассказать о них нечего. Всё, о чём я пишу ниже, началось для меня в одиннадцатом часу вечера, когда в сенях грохнуло так, словно кто-то выломал дверь плечом.

Я вышел со свечой и увидел на пороге Григория Рябинова. Он стоял, облепленный снегом с головы до ног, без шапки, в распахнутом тулупе, и из горла у него вырывалось дыхание с хрипом, как у загнанной лошади. В правой руке он

держал за горлышко бутылку, ещё на две трети полную. Лицо его, всегда такое открытое, смуглое, с чёрными бровями вразлёт, за полтора месяца, что я его не видел, осунулось и потемнело; под глазами лежали тени цвета старого синяка.

- Коля, - сказал он. - Ты один?

- Один, Гриша. Входи, ради бога, ты же замёрзнешь.

- Не замёрзну, - ответил он странным голосом. - Мне теперь, кажется, и не холодно вовсе.

Я втащил его в комнату, усадил у печи, стащил с него тулуп. Руки у него были ледяные и твёрдые. Он не сопротивлялся и смотрел перед собой, на заслонку, где красным глазом мерцали угли. Бутылку он так и не выпустил, поставил себе на колено, и я заметил, что пальцы его мелко дрожат, а на костяшках правой руки запеклась старая царапина.

Мы с Григорием дружили с тех лет, когда вместе лазили по чужим садам. Он был старше меня на год, сын мельника Ильи Рябинова, и во всей округе не знали человека веселее и щедрее. Если у Гриши заводился пятак, то его получали все мальчишки на улице. Если у кого-то случалась беда, он первым приходил с телегой или с мешком муки. И вот теперь этот самый Гриша сидел у моей печи, как человек, на которого рухнул потолок.

- Расскажи, что стряслось, - попросил я. - Глаша?

Он вздрогнул так, что бутылка стукнула о колено.

- Не называй её.

Я замолчал. В печи треснуло полено. Ветер с воем про-

шёлся по крыше, и в трубе что-то отозвалось низко и протяжно, будто там тоже кто-то стонал.

- Ты помнишь Фому? - спросил он наконец.

- Плотника? Как не помнить.

- Его нет, Коля, - сказал Григорий. - Уже шесть недель, как нет. Ты слышал, что говорят?

Я слышал. В деревне говорили, что Фома Седов, лучший наш плотник, ушёл на заработки в Тулу, что его позвал туда какой-то подрядчик строить склады и что обещал вернуться к Рождеству. Говорили так охотно и так одинаково, что я, учитель, привыкший различать, когда ребёнок повторяет заученное, а когда думает сам, не придавал этому значения. Люди часто повторяют одно и то же, когда им нечего сказать.

- Говорят, что он в Туле.

- В Туле его нет, - тихо сказал Гриша. - Я знаю, где он. И ты узнаешь. Потому что мне больше некому об этом рассказать, а молчать я не могу. Если не расскажу вслух живому человеку, я сегодня же сойду с ума. Или...

Он не договорил. Я придвинул табурет и сел напротив, так близко, что видел, как в его зрачках отражается огонь.

- Рассказывай, - сказал я. - Я слушаю. Хоть до утра.

- До утра не хватит, - ответил он с кривой, страшной улыбкой. - Тут вся жизнь. Мне придётся начать с самого начала, Коля, иначе ты не поймёшь, как друг мог сделать такое с другом. А ты должен понять. Ты один и можешь.

Он отпил из бутылки, поморщился, словно глотал уксус,

и заговорил. А я слушал и, вопреки обещанию, не мог знать, что вместе с его исповедью к моей двери пришло и моё собственное наказание: узнать то, чего не узнать нельзя, и остаться с этим жить.

Прошло много лет. Я записываю его слова так, как помню, и порой добавляю то, что видел сам. Кое-где пишу о событиях, при которых он не был, но о которых мне позднее рассказали другие. Если в чём ошибусь, пусть простят меня живые и мёртвые.

Глава вторая. Три мальчика на берегу

Начать нужно с реки.

Река у нас небольшая, но своенравная, с омутами, где вода стоит чёрной и неподвижной, и с перекатами, где она бежит так звонко, что слышно с другого берега. Мельница Рябиновых стояла как раз на перекате, и колесо её день и ночь ворочало воду, а на плотине сидели, свесив ноги, трое мальчишек. Это были мы.

Григорий, сын мельника, самый старший и самый шумный, всегда знал, где клюёт окунь и когда поспеют яблоки в барском саду. Фома, сын плотника Луки Седова, - тихий, широкоплечий, с большими медленными руками и привычкой подолгу молчать. Ну и я, дьяконов сын, тощий и вечно читающий, которого оба они взяли в компанию, кажется, из жалости, но потом так привязались, что без меня не затевали ни одного дела.

Фома с малых лет умел делать вещи. Не игрушки даже, а именно вещи, настоящие, будто маленькие мастера внутри него знали заранее, каким должен стать кусок липы. Он вырезал нам лодочки, которые плавали, ножички с рукоятью по ладони, дудки, в которые стыдно было дуть, чтобы не испортить такую красоту. Однажды он вырезал для Гриши ло-

шадку, такую живую, что у неё, казалось, шевелилась грива. Гриша носил её за пазухой полгода. Я хорошо помню, как он, мальчишка, сказал тогда:

- Фомка, ты когда вырастешь, будешь самым первым мастером на всю губернию. А я буду богатый, и ты построишь мне такой дом, что царь позавидует.

- Построю, - ответил Фома серьёзно, потому что он вообще не умел шутить и не понимал, как можно не исполнить обещание.

Была у нас в те годы и собака. Её принёс Фома, щенком не больше его ладони, подобрал на дороге у чужой телеги. Назвали его Тузом, хотя ни один туз в мире не был так нелеп: лопоухий, с одним ухом торчком, а другим повисшим, и с таким доверчивым взглядом, что с ним мирились даже злые бабы. Туз ходил за Фомой, как привязанный, а иногда по очереди и за мной, и за Гришей, но всегда возвращался к Фоме, под большую тёплую руку. Мы любили его втроём, и это было, пожалуй, единственное, в чём мы никогда не соревновались.

Потому что соревновались мы во всём остальном, и это тоже нужно сказать, хотя никто из нас в то время не называл это соревнованием. Гриша хотел быть первым. Первым переплыть реку, первым влезть на колокольню, первым получить от отца новый кафтан. Он делал это не из злобы, а из горячий, ненасытной жажды: быть лучшим, быть любимым, быть замеченным. Фома же никогда не гнался за пер-

венством, но выходило так, что ему всё доставалось само, без усилий. Старики хвалили его работу, а дети тянулись к нему, как к печке в стужу. Гриша это замечал. Замечал и улыбался, и хлопал друга по плечу, и говорил: «Ну, брат, ты у нас золотые руки!» А в углу его глаз, если очень пристально смотреть, на миг мелькала маленькая холодная точка, как отблеск на дне колодца.

Я увидел её впервые, когда нам было лет по четырнадцать. Староста приказал всем троим помочь с церковной оградой, и Фома, конечно, сделал самую трудную часть, когда мы закончили, староста вынес ему целый рубль, а нам с Гришей по половине. Гриша промолчал. Улыбнулся, принял деньги, поблагодарил. Но потом, на обратном пути, я шёл позади них и слышал, как он, не оборачиваясь, сказал другу очень ровно:

- Хорошо тебе. Тебя все любят.

- Тебя тоже любят, - удивился Фома.

- Меня любят за то, что я весёлый. А тебя за то, что ты есть, - сказал Гриша и засмеялся, как будто пошутил.

Тогда я решил, что он действительно пошутил.

Глава третья. Ледоход

Есть воспоминания, которые не стареют вместе с нами. Другие выцветают, как кожа на солнце, а эти остаются яркими, будто всё случилось вчера. Для меня таково воспоминание о ледоходе тысяча восемьсот пятьдесят шестого года, когда Грише было тринадцать, а нам с Фомой по двенадцать.

Весна в тот год пришла рано и круто. За три дня Ока вздулась, лёд на ней посинел, пошёл трещинами, и по ночам с реки доносился такой гул, словно по небу катали огромные бочки. Взрослые строго-настрого запретили нам подходить к берегу. Разумеется, мы подошли в первое же утро.

Лёд шёл густо: большие серые поля, сталкиваясь, лезли друг на друга, крошились, переворачивались, показывая мутное зелёное брюхо. Между ними чернели полыньи, и в них кружились щепки, бревна, чьи-то сорванные ворота. Мы стояли на плотине, на самом верху, и смотрели, раскрыв рты.

- Спорим, я перейду? - сказал вдруг Гриша.
- Куда перейдёшь? - не понял я.
- На тот берег. По льдинам. Они же сплошняком идут, ступай себе да ступай.
- Ты с ума сошёл, - сказал Фома.
- А вот и нет, - Гриша уже сбрасывал тулупчик. - Я быстрый. Я успею. Ты, Фомка, так не сможешь, у тебя ноги тяжёлые. А я смогу. Я первый в деревне перейду ледоход. Все

будут говорить.

Он всегда мечтал, чтобы о нём говорили. Не думаю, что он хотел славы ради славы. Просто в его доме о нём не говорили вовсе, а говорили о другом, но об этом я расскажу потом.

Фома схватил его за рукав. Гриша вырвался, смеясь, и прыгнул на ближайшую льдину.

Я до сих пор помню, как он бежал. Лёгкий, ловкий, в одной рубаше, с развевающимися чёрными волосами, перепрыгивая с поля на поле, и казалось, что река сама расстилает ему дорогу. Один прыжок, второй, третий. Я уже начинал верить, что он действительно перейдёт, и сам не заметил, как закричал от восторга. А потом лёд под ним качнулся, поле, на которое он приземлился, оказалось не полем, а тонкой плитой, и она раскололась с тихим чавкающим звуком.

Он ушёл под воду без крика. Только мелькнула над краем полыньи рука, потом чёрная голова, потом всё закрылось, потому что по тому месту сомкнулась другая льдина.

Я застыл. Я знаю, что это стыдно, но так было: ноги приросли к доскам плотины, и я стоял, как столб, пока рядом не просвистел чей-то хриплый вопль, и Фома, этот молчаливый, медлительный Фома, не рванулся вниз, к воде, на ходу сдирая с себя кушак.

- Верёвку! - крикнул он мне. - Коля, верёвку из лодки, живо!

Я не помню, как добежал до лодки. Помню только, как трясущимися руками вытаскивал из-под скамьи свёрнутый

канат и не мог расплести узел. Когда я прибежал обратно, Фома уже стоял на краю льдины с шестом в руках и шарил им в чёрной воде.

Он привязал себя канатом к бревну плотины и прыгнул. Прямо в ледяную кашу, где только что исчез Гриша. Я держал конец, ничего больше я не умел. Вода дёргала его, как рыбу на удочке, лёд бил по плечам, он нырнул раз, другой, третий. На четвёртый вынырнул с Гришей под мышкой, посиневшим, обмякшим, с закатившимися глазами.

Втащить их обоих на плотину нам помогли мельничные работники, прибежавшие на крик. Гришу долго трясли вниз головой, пока он не закашлялся и не изверг из себя полведра мутной воды. Фому, закутанного в чьи-то кафтаны, вели домой, а у него так стучали зубы, что слышно было за десять шагов.

Две недели Фома пролежал в горячке. Сам старый Лука, его отец, молился ночами, а мы с Гришей по очереди дежурили у его постели. На третий день Фома открыл глаза и спросил хрипло: «Гриша жив?» Услышав, что жив, улыбнулся и уснул.

Старик Рябинов, мельник Илья, пришёл к Седовым, когда Фома пошёл на поправку. Принёс мешок муки, полпуда соли и новый тулуп, да ещё серебряный рубль, который положил на стол.

- Спас ты моего дурака, - сказал он, и голос у него дрогнул.
- Что хочешь проси.

- Ничего не надо, дядя Илья, - ответил Фома, лёжа под одеялом. - Я не за награду.

Рубль так и остался лежать на столе.

А Гриша? Гриша ходил к Фоме каждый день, носил ему сладости, развлекал историями, смешил. Он клялся, что отныне он его должник на всю жизнь, что отдаст за него последнюю рубаху, что если понадобится, ляжет за него костями. Он говорил это так искренне, так горячо, со слезами на глазах, что я верил каждому слову. Я и сейчас верю, что в те минуты он не лгал.

Только в один из дней, когда Фома задремал, а мы сидели у окна, Гриша вдруг сказал мне очень тихо:

- Знаешь, что самое мерзкое, Коля?

- Что?

- Что я теперь никогда не смогу с ним сравняться. Понимаешь? Я ему должен. Всю жизнь. И он будет добрый, и скажет, что ничего не должен, а я всё равно буду знать.

- Но ведь ты и меня когда-то вытаскивал, - напомнил я.

Это была правда. За три года до того я чуть не утонул в омуте под ивами, и Гриша прыгнул за мной без раздумий, вытащил, откачал, и потом ни разу, ни разу в жизни не напомнил мне об этом. Я думаю, он и сам про это давно забыл.

- Это другое, - сказал Гриша. - Тебе я помог потому, что был рядом. А он ради меня полез в такое, откуда выбираются один из десяти. Это совсем другое, Коля.

Я не понял его тогда. Мне показалось, что он просто сму-

щён, как бывают смущены гордые люди, когда им приходится принимать великую милость. Я похлопал его по плечу и сказал, что настоящая дружба долгов не считает.

А он посмотрел на меня долгим серьёзным взглядом и ответил:

- Дружба нет. А я считаю.

Глава четвёртая. Под рябиной

Туз прожил на свете пятнадцать лет, что для деревенской собаки возраст почтенный. Он пережил двух кошек, трёх хозяйских коз, бессчётное число злых соседских кобелей и, кажется, даже собственную смерть: на последнем году он так ослаб, оглох и ослеп, что все были уверены, что он вот-вот отойдёт, а он всё лежал и дышал, словно ждал чего-то.

Это было в декабре шестьдесят седьмого года. Я приехал на святки, окоченевший, голодный, обросший какой-то ненужной учёностью, и первое, что сделал, прямо с саней, не заходя к матери, пошёл к Фоме. Потому что знал, что Туз при смерти.

Фома жил тогда уже один: старый Лука умер за два года до того, оставив ему дом, мастерскую и всё своё нехитрое ремесло. Я вошёл без стука, как входил всегда, и увидел картину, которую не забуду.

В углу, у печки, на толстой подстилке из овчины, лежал Туз. Тощий, почти бесплотный, с торчащими рёбрами и потускневшей шерстью. Одно ухо, как всегда, стояло торчком, но теперь оно казалось не смешным, а трогательным: последний флажок, который старик ещё не спустил. А рядом на полу, прямо на досках, сидел Фома и держал голову собаки на коленях. Он гладил её большой своей рукой, медленно, от носа до затылка, и что-то тихо говорил ей. Я не расслышал

слов.

- Здравствуй, Николка, - сказал он, не оборачиваясь. - Хорошо, что приехал. Он сегодня ночью уже прощался. Я думал, не дождётся тебя.

- Что он ест?

- Ничего. Пьёт немного. Я ему молока в тряпочке даю, он сосёт. Ты не говори громко, он ещё слышит, когда я рядом.

Я сел на пол с другой стороны. В печке трещало, на стене тикали часы, за окном скрипел под полозьями снег. Мы просидели так до вечера. Потом пришёл Гриша, весь в инее, румяный, с кульком каких-то гостинцев для собаки, и остановился на пороге, и лицо его, всегда живое, подвижное, вдруг стало совсем детским.

- Живой? - шёпотом спросил он.

- Живой пока, - ответил Фома.

Гриша опустился рядом с нами. Достал из кулька кусок вареной говядины, сам его растёр и пытался накормить Туза, но тот лишь лизнул ему палец и отвернулся. Тогда Гриша заплакал.

- Ну чего ты, - сказал Фома мягко. - Он хорошо пожил. Старый уже. Всех нас переживёт, а потом заснёт, и всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.